

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Галина Манзвич

ДРУЗЬЯМ ИЗДАЛЕКА,
ИЛИ
ПИСЬМА СТРАНСТВУЮЩЕГО РУССКОГО ГАМЛЕТА

"Мы часто ищем русских лиц. Вот вам
одно из них, он был похож не только
на русского, а еще на себя самого".

К.Леонтьев. Несколько воспоминаний
и мыслей о покойном Ап.Григорьеве.
(Письмо к Ник.Ник.Страхову).

"Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве".

В своей краткой записке весной 1918 г. "Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве" А.Блок писал: "Дело в том, что в 1846 году вышла "Выбранные места из переписки с друзьями" Гоголя. Эту книгу мало читали, потому что она была официально рекомендована, взята под защиту самодержавия и его прихвостней, наша интеллигенция — от Белинского до Мережковского — так и приняла Гоголя без "Переписки с друзьями", которую проклинали все, и первый — Белинский в своем знаменитом письме. ... "Переписки" — две неравные части: одна — малая, "мирская": самодержавие, болезнь; другая громадная: правда, человек, восторг, Россия. Белинский заметил только болезнь, Белинского услышали и ему поверили "все". Но среди этих "всех" не было одного: молодой Аполлон Григорьев сразу понял, какие "страшные духовные интересы" составляют содержание этой книги. Он писал об этом Гоголю в 1848 году. Желающих прочесть его письма я отсылаю к недавно вышедшему замечательному исследованию Вл. Княжина. /"А.А. Григорьев. Материалы для биографии". Изд. Пушкинского Дома при Академии наук, 1917 год./"X/

И, только письма, но и статья, опубликованная в "Московском городском листке" за 1847 год в четырех номерах, — "Гоголь и его последняя книга", в которой юный автор с трехлетним литературным стажем в контр-всей либеральной общественности писал: "Замечательно само предисловие к этой странной переписке. Человек, стоявший во главе современной русской литературы, начинает прямо тем, что издаваемое им перепискою он хочет искупить беспольность всего, досель им напечатанного, не есть ли это смиренное сознание, просто сознание сия гениала, который все, доселе им созданное, сбрасывает, как ветхую шелуху?..

Гоголь вовсе не дорожит самою книгою, но дорожит по всему праву моментом своей духовной жизни, нося в самом себе слишком большие силы, стоя всегда выше своих созданий, он стоит также и выше и этой переписки, но вполне прав, указывая на нее как на результат своего предшествующего развития... Он дорожит не своею личностью, а "нравственным результатом своей жизни"... — была воспринята А.Блоком, как своеобразное эхо на глас вопиющего в пустыне. Сам факт отзывчивости А.Григорьева представился поэту столь ценностно ориентированным, что все поздние эскизы критика в сторону Гоголя он просто отказывался замечать. Видимо, А.Блок хотел следовать не правде эмпирического факта, на уровне которого порою пребывает не только критика, но и само так называемое художество, а верности поэтических реалий, их

1/ А.Блок. Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве. ГИХЛ, М. — Л. 1916. Все высказывания А.Блока цитируются по данному изданию.

некоей провиденциальности. Именно в зеркале этих реалий и пригрелась ему фигура А.А. Григорьева, шедшего рука об руку с Гоголем "Передиски", словно слышались ему слова трех "знаменитых" григорьевских писем к Гоголю, писанных автором осенью 1848 года. "Не скрою от вас и того, что, несмотря на все негодование, навеянное на меня слухами о вашей книге, меня лично неотразимо влекло к ней именно то, что сия всех понти привела в ярость, всех — даже людей согласных, по-видимому, с вами в основах мышления /как то Павлова/, одно убеждение, что истина есть только то, что сознается немногими, несколькими, одним, может быть, что истина всегда гонима и всегда на стороне гонимого. Результатом всего этого была статья моя по поводу вашей книги в "Московском городском листке", вы, говорят, отозвались о ней благосклонно. Благодарю вас, но это была статья недосказанная, несмелая, ничего почти не сказавшая, дорожу я в ней только основной мыслью и добросовестностью попытки. Может быть, многие, кого я любил, с досадою отвернулись от меня из-за этой статьи, может быть, другие сочли ее желанием угодить господствующим началам — что нужды? Этою статьею я примирился с собою за всю прежнюю литературную деятельность, она была первым шагом к выполнению того, что "обращаться со словом нужно честно"..."/После 14-го октября 1848 г. Москва/X/.

И далее, во втором: "И действительно, как же не изумиться? Художник придает общественную важность своему делу, чуть не приглашает всех и каждого к совету, соучастию в своем деле... да как же это? да что же это? спрашивала Русская Литература с наивным изумлением, не подозревая, бедная, что в этом самом изумлении сказывается какое-то циническое презрение к самой себе, какое-то отрицание в самой себе всякого важного общественного значения. В отношении к себе она может быть права, да не вправе была она считать своим главою и представителем поэта, который еще прежде в своих сценах "Разъезда после представления" прямо обвинил, как он смотрит на свой подвиг, как он дорожит тем, чтобы семена, им брошенные, приносили плод в народе. Но ей, этой литературе /евнуху или, что хуже еще, развратнице/ что за дело до плода? Для одних, как для Булга и прочих, литература дойная корова для развратный дом, для других мечтательное самообольщение или умственное снаianie. С одной стороны, утрачена вера в поэта, как в пророка, как в провозвестника правды, с другой стороны, принято, что если и явится пророк, то он непременно должен явиться со словом ненависти и вражды". /Ноябрь 17. 1848 г./

И, наконец, в третьем: "Но прежде всего ответ на ваше письмо.

х/ А.А. Григорьев. Материалы для Биографии. Под редакцией Влад. Княжина. изд. Пушкинского дома при Академии наук. Петроград, 1917. Все письма А.А. Григорьева цитируются по данному изданию.

Не требуйте от меня положения стройного и строгого, оно покамест не в моей власти, недостаток его одна из причин, по которым я на время, а, может быть, и навсегда, отрекся от всякой литературной деятельности, и без всякого сомнения недостаток этот в связи с моим внутренним настроением. Может быть, потому еще ваша книга так сильно на меня подействовала, что в высшей степени страдаю недугом распухлости, следствием раннего пресыщения жизнью. Отсюда сознание идеала и сознание собственного бессилия сообразоваться идеалу, состояние души, может быть, самое безотрадное, самое скорбное состояние веры и разума и апатии сердца... до свидания! Простите мне мои отступления и не забудьте, великий художник, что я только ваш ученик и ревностный поклонник". /Ноябрь - декабрь 1848, Москва/.

Однако по мере взросления автора этих проникновенных писем в его духовной биографии проходил сложный мучительный процесс. Порою, даже не упоминая имени Гоголя, Ап. Григорьев вступает в постоянный диалог с ним, или точнее, с тем типом сознания, который так открыто и так мужественно огласил Гоголь, и к которому с таким удивительным до болезненности участием отнесся вначале Ап. Григорьев. При этом уже в первом письме к Гоголю Ап. Григорьев делится с ним своим тайным, еще не так давно будоражившим его замыслом. "Долго носил я в себе мысль написать целую книгу по поводу вашей книги, — писал Ап. Григорьев, — но остановила меня мысль, что этот комментарий ничего к ней не прибавит, что все же он более или менее, будет носить на себе следы болезненности, что не мне разрешить все эти тяжкие вопросы, что дерзко выставить только вопросы же с своей стороны. Притом же, многое пало мне на сердце из этой книги, а в особенности слова: "Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро... Бог недаром повелевает каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит" и т.д. Не считаю себя призванным выходить за пределы того скромного круга деятельности, которым я ограничен, из тех вопросов, на которые навела меня книга, для вас, для меня ли из этого выйдет что-нибудь доброе. Разумеется, что письма эти не для печати, по крайней мере в той беспритязательной форме, в которой они будут к вам написаны. Имею честь быть поклонник вашего гения, А.Г.". Этот начатый "в беспритязательной форме" диалог не однажды отговаривается, продлится /подчас как раз "с притязаниями"/ в поздних критических статьях Ап. Григорьева, а завершится, точнее, исчерпает себя в "Кратком послужном списке на память моим старым и новым друзьям" — этом самом последнем, самом трагическом и завещательном произведении Ап. Григорьева, писанном на клочке бумаги мелким бисерным почерком в найденном Н. Страховым в старом портфеле покойного Ап. Григорьева, на ощущая всю обреченность своего личного существования, сидя

в очередной раз в должном отделении, подводит итоги своей деятельности. И в предсмертном послании он дважды вспоминает Гоголя. То есть с именем Гоголя как бы открывается занавес романтического театра, героем которого был Ап. Григорьев, и с его именем он как бы задерживается скептиком.

"Я уехал в Москву, — пишет Ап. Григорьев, — и там нас азарт в "Городском листке" — но опять/таки свой азарт — и был руган. Вышла странная книга Гоголя, и рука у меня не поднялась на странную книгу, проповедовавшую, что "со словом надо обращаться честно". Вышла моя статья в "Листке", и я был оплеван буквально /подлецом/ именем подлеца, Герценом и его кружком"^{x/} — это в начале. А вот финал: "Недурное тоже время! Яркие статьи о театре — культ Островскому и смелые упреки Гоголю — безцензурно и беспощадно"^{xx/}. Так романтический диалог с Гоголем завершается почти рашником.

Однако венчают это безысходно-ироническое письмо-завещание слова трагического героя, обреченного на смерть, но вызывающего время на поединок. "Писано сие конечно не для возбуждения жалости к моей особе ненужного человека, а для показания, что особа сия всегда, — как в те дни, когда верные 50 рублей Краевского за лист меняла на неверные 15 за лист "Москвитянина" — пребывала фанатически преданною своим самодурным убеждениям..."^{xxx/}. Так неожиданно "особа, пребывающая фанатически преданною своим самодурным убеждениям", начинает снова родниться с личностью, проповедовавшей, что "со словом надо обращаться честно". Неуслышанность Ап. Григорьева обернулась неким эхом неуслышанности Гоголя. Два категорично несхожих типа, очертивших себя в русской литературе самым откровенным образом, в своей жажде следовать голосу истины обрели некое родство. Мистико-аскетический строй Гоголя и органически-почвенный Ап. Григорьева, несущий в себе одновременно как бремя и как надежду все струны народной души с ее базой и с ее небом, оказались изгоями на литературном миру. "Откройте Гоголя, нового Гоголя, не урезанного Белинским, прочтите его книгу без "западнических" шор, и вы много поймете по-новому, — писал А. Блок. — Откройте, наконец, вместе с Гоголем его благоговейного истолкователя Аполлона Григорьева, и убедитесь, наконец, что пора перестать проговаривать совершенно своеобразный, открывающий новые дали русский строй. Он хаотичен и темен иногда, но за этой тьмой и путаницей, если углубляться в них, вглядеться, вам откроются новые способы смотреть на человеческую жизнь"^{xxx/}. Так Ап. Григорьеву суждено было войти в

^{x/,xx/,xxx/} Аполлон Григорьев. Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям. Воспоминания. Л., 1980.

^{xxx/} А. Блок, что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве.

русскую литературу не хулителем Гоголя, а его "ревностным поклонником".

х х
 х

"Писателя более автобиографичного, чем Аполлон Григорьев — быть не может во всей русской литературе", — отмечал Иванов-Разумник в своих комментариях к книге "Воспоминания" X/.

Обнаженное, почти не прикрытое бытие личности, запечатленное с равной степенью откровенности в поэзии, прозе, критике и письмах, создает удивительно целостную картину духовной жизни "я", которую в истории русской культуры, или русского самосознания можно было бы назвать "феноменом" Ап. Григорьева, если же следовать его собственной терминологии — "веянием" Ап. Григорьева.

Не только метод исповедального бытия личности, получивший особые привилегии в искусстве XX века, но и сама соль ее идейных и эстетических бескомпромиссных притязаний приобрели особую, почти болезненную остроту в наши дни, когда органическая жизнь поэзии и критики почти исчерпали себя, и по ним разве что можно править поминование.

"Зато теперь, когда твердые кости и партийности начинают шататься под неустанным напором сил и событий, имеющих всемирный смысл, — писал А. Блок, обладавший даром улавливать не только сиюминутные содрогания, но и вибрации будущего, — приходится уделить внимание явлениям, не только стоящим под знаком "правости" и "левости", на очереди — явления более сложные, соединения, труднее разложимые, где, личная судьба которых связана не с одними "славными постами", но и с "подземным ходом гад" и "прозябаньем дольной лозы". В судьбе Григорьева, сколь она ни "человечна" /в дурном смысле слова/, все-таки вздрагивают отсветы Мировой Души, душа Григорьева связана с "глубинами", хоть и не столь прочно и не столь очевидно, как душа Достоевского и душа Владимира Соловьева. ... Судьба Григорьева сложна и потому соблазнительна. В интеллигентский лубок он никогда не попадает: слишком своеобразен, в жизни его трудно выискать черты интеллигентских "житий", "пострадал" он, но не от "приветельства" /не верая на всё свое свободолюбие/, а от себя самого, за границу бега — тоже по собственной воле, терпел голод и лишения, но не за "идеи" /в кавычках/, был, наконец, и "критиком", но при этом сам обладал даром художественного творчества и понимания, и решительно никогда не склонялся к тому, что "сапоги выше Шекспира", как это принято делать /прямо или косвенно/ в русской критике от Белинского и Чернышевского до Михайловского и ... Мережковского" XX/.

Аполлон Григорьев. Воспоминания. Редакция и комментарии Иванова-Разумника. "АСА БЫ Г А", М.-Л. 1930.

А. Блок. Судьба Аполлона Григорьева. т. 5.

И если покажется нам, что в десятые годы безусловно закономерно было обращение к Ап. Григорьеву А. Блока, в поэтическом мирсозерцании которых есть несомненное родство, то поразительная запись, как обрывок чего-то несконченного, найденная в бумагах С. Мандельштама, угадывающего эту преемственность, еще с большей силой убеждает, что лирический образ "последнего романтика", как именовал себя Ап. Григорьев, не только не ушел в прошлое, но являлся уже тогда неким знаком будущего. Размышляя об органике поэтического творчества, С. Мандельштам почти с болью вспоминал своего далекого и одинокого предшественника: "наша память, наш опыт с его провалами, тропы и метафоры наших чувственных ассоциаций достаются ей /книге/ в обладание бесконтрольное и хищное. Тут достигается "цель очищения и цель самосознания", о которой говорил наш Ап. Григорьев, охрипший от ненависти и пересказчикам... описателям..."

Апология описательства снова стала формой хронической болезни поэзии, искусства, критики, но ныне, когда сами захворавшие возжаждали исцеления, возможным диагностическим, а может и оздоровительным средством припомнилась им судьба Ап. Григорьева. Тот "открывающий внове дада русский строй", о котором говорил А. Блок. Одна из трагических "ненужных" фигур, коим "слово было святиня", "которым убеждение было нечто больше их самих", вновь пытается обрести свою жизнь.

Творческая биография Ап. Григорьева сегодня открывается нам не как архаический сколок прошлой культуры, но и не как готовый эталон, по которому можно кроить шедевры. а как духовное существование странника, исполненное неутоленной жажды вопрошаний, то есть как процесс, как путь в "очищение" и "самосознание себя". "Чего именно мы хотим, то есть объем и содержание нашего идеала?" — вопрошал "ненужный человек" Ап. Григорьев себя и свою воображаемую редакцию и, вопрошая же, отвечал: "Может быть твоя сила и твое будущее — в том, что ты еще не отмахивалась себе владений, что твой идеал еще расплывается в беспредельности, что он только вера, вера в жизнь и в народ..." "Не во время! не могу я, старый ненужный человек, слышать равнодушно этого любимого слова доктринеров: не во время!.. Я верю в старого Шекспира, верю, что... всегда есть время на то, что происходит в нем" х/.

"Григорьев был хоть и настоящий Гамлет, — писал Ф. М. Достоевский, — но он, начиная с Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными, менее прочих раздвигался, менее других рефлектировал. Человек он был непосредственно и во многом даже себе неведомо-почтенный, кряжевой, может быть, из всех своих современников

х/ Ап. Григорьев. Безвыходное положение. /Из записок ненужного человека/. Аполог Григорьев. Воспоминания. "АСА РЕМ I A" М.-Л., — 1930 г.

он был наиболее русский человек как натура /не говорю — как идеал, разумеется/. От этого и происходило, что малейший порыв свой в общем деле он считал до того кровным и необходимым для всего дела, до того неразрывным с делом, что малейшее неудовлетворение этому порыву казалось ему иногда падением всего дела. Я полагаю, что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если б у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания^х. "Я критик, а не публицист", — заявлял Ап. Григорьев Ф.М. Достоевскому — "судя о слове п у б л и ц и с т с предубеждением", а эхо "ненужного человека" вторило — "всякое честное литературное дело начинается с презрения к так называемой п у б л и к е" /разрядка Г.М./

Апофатическое и одновременно экзистенциально-персоналистическое кредо — монолог-исповедь Ап. Григорьева¹ нашло свое время. Оно в некоей антиномической тайне соединило в себе начало и конец — конкретный исторический пессимизм и трансцендентность веры в жизненную реальность идеального бытия.

В наши дни, когда тотальная "идеология", а по Ап. Григорьеву — "публицистика", полностью исчерпала себя, как в официальной поэзии, прозе и критике, так и в неофициальных; вневременной феномен Ап. Григорьева способен сообщить им импульсы своей высокой энергичной силой и указать некие ценностные критерии в пространстве творчества.

"Вывод" в поэзии нужно понимать буквально — как закономерный по своей тяге и случайный по своей структуре в н х о д за пределы всего сказанного", — так комментировал одно из теоретических положений "нашего" Ап. Григорьева С.Мандельштам. И если, по словам С.Мандельштама, "студенческая комнатка" Аполлона Григорьева могла способствовать рождению поэзии А.Блока, то приобщение современной литературы к феноменальному миру Ап. Григорьева может послужить для нее "выводом" — "выходом" в сторону непосредственной, органической жизни за пределы мертвой публицистики. "С поэтом А.А.Блоком в "год страдный и памятный", — писал В.Княжин в предисловии к книге "Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии", — мы вместе учились любить Ап. Григорьева, "нашего современника", и ему, А.А. Блоку, и его матери А.А.Кублицкой-Пиотух мое последнее слово любви, памяти и благодарности".

"Материалы для биографии" — уникальное собрание документов о жизни и творчестве Ап. Григорьева, осуществленное В.Княжиным, к которому отсылал А.Блок читателей заметки "Что нам надо запомнить об Аполлоне Григорьеве", включает в себя сто тридцать писем писателя к различным адресатам, подобранных в хронологическом порядке. Эти документы прошлой эпохи открывают неповторимый характер мирозерцания, которое не нашло адекватной полноты выражения в творчестве.

¹ Т.М. Тессефский. Приложения к статье И.Струхова "Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве". Наука, М., 1985 г. т. 20.

Отсюда и удивительное по откровенности признание в "Записках ненужного человека": "Я начинаю писать эти записки в Долговом отделе-нии. Вероятно, в нем же их и окончу, если только когда-нибудь окон-чу, — писал Ап. Григорьев. — Цель моя — чисто назидательная, а нов-се не художественная. Художником я решительно быть не способен, хоть во мне, как все мои знакомые говорили и как сам я, говоря без ложной скромности, очень хорошо знаю — художественного понимания и, что может быть еще лучше — художественного чутья: "нос у тебя есть", — говаривал мне не раз даровитый поэт. А все-таки мне-то от этого не легче... Ведь, извольте падеть, — будь я художником, я уже не был бы ненужным человеком. В том-то и беда великая, в том-то и горе-злосчастия всей моей жизни, что я в с е, совершенно в с е понимаю, — н и ч е г о, совершенно н и ч е г о не произвожу. Для того, чтобы быть художником, нужна сосредоточенность, нужна спокойствия, нужна способность переживать жизнь только внутри себя, а я всегда ненасытно-жадно стремился пережить ее, жизнь-то, — как можно более в действительности. Не то, чтоб сильно широка очень была моя натура, а так уж больно падка до жизни. А, с другой сто-роны, я не мыслитель в строгом смысле этого слова. Мышление мое — какое-то калейдоскопическое. Право так! И никогда не могу видеть предмета с какой-нибудь одной его стороны и не могу поэтому соору-дить о нем какой-нибудь определенной теории. Что за притча такая? Другим, посмотришь, так легко даются теории — и главное-то дело, так легко верится в теории, — а мне вот нет, как нет!

А ведь мысль, не прикованная к теории, такой с в о б о д о й своей ужасно много т е р я е т в с в о е й с и л е, хоть мо-жет быть много в ы и г р ы в а е т в с в о е й п р а в д е.

Чтобы пробить стену, нужно быть постоянно в одно место. Теория так и делает — бьет что есть мочи в одну точку, потому что, кроме этой точки, ничего другого не видит.^{х/} Поэтому если поэзия для Ап. Григорьева была духовкой страстей и безумств, говоря его собст-венными словами — "клочками живого мяса, вырванного прямо с кровью из живого тела", если проза — от первых романтических произведений в духе Лермонтова — до "исповедей" "ненужного человека" — всегда свободное и калейдоскопическое философствование, обличенное в ту или иную художественную форму, если критические статьи, это простран-ство лабильного понимания эстетических начал, то письма — это море, в котором многогранная одаренность личности Ап. Григорьева воплотила себя целостно и органично во всем объеме своих верований, интуиций,

^{х/} Ап. Григорьев. Безысходное положение /Из записок ненужного чело-века/. В кн.: Аполлон Григорьев. Воспоминания.

мыслей, чувств и ощущений. При этом в письмах — еще более остро, чем в творчестве Ап. Григорьева, — как некая постоянная доминанта личности выявляется ее трагизм. То текстуально, то ритмически, то музыкально возникает предчувствие почти фатальной неразрешимости конфликта — горячих, пламенных убеждений личности и их заведомой обреченности. Ибо, по словам К. Леонтьева: "Аполлон Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале, его идеал был — богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности".^{х/}

Письма Ап. Григорьева — историографический архив житийных документов, собранный и систематизированный В. Княжниным, сегодня воспринимается как нечто цельное в художественном и философском смысле, требующее себе внимания. Этому целому в какой-то степени могут соответствовать заглавия автобиографических, почти дневниковых произведений Ап. Григорьева, таких, как "Листки из рукописи скитающегося софиста", или, наконец, "Импровизация странствующего романтика". А. Блок удивительно верно сравнил письма Ап. Григорьева с только что вышедшей тогда книгой В. В. Розанова "Спавшие листья". Пользуясь словом В. Розанова, их можно было бы назвать "Спящими листьями литературного изгнанника". Мне они видятся "Спящими листьями русского странника".

В одном из писем к Н. Страхову у Ап. Григорьева есть такая фраза: "Знаешь, когда я лучше всего себя чувствовал? В дороге. Право, если бы я был богат, я бы постоянно странствовал. В дороге как-то чувствуешь, что ты в руках Божьих, а не в руках человеческих". В этом признании Ап. Григорьева слышится его исконно-религиозное, странническое отношение к пути-дороге. Гений Ап. Григорьев даже на мансарде уютного стеческого дома на Малой Полянке ощущал свое душевное странничество. Не случайно, что первое бегство отсюда и завершится "Листками из рукописи скитающегося софиста". Здесь и начало зарождающегося мирозерцания странничества, особенным образом высказавшее себя в письмах. Завершится оно уже упомянутым "Кратким послужным списком на память моим старым и новым друзьям". Само название произведения указывает на жанр письма. Стоит заметить, что многие свои статьи, особенно позднего периода, Ап. Григорьев писал в жанре писем.

В статье "И. С. Тургенев и его деятельность", по поводу романа "Дворянское гнездо" /Письма к Г. Г. А. К. Г./, Ап. Григорьев заявляет: "Я пишу свои критические заметки в форме письма, — стало быть, в форме самой свободной, и, стало быть, позволяющей всякого рода отступле-

^{х/} К. Леонтьев. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве /письмо к Ник. Ник. Страхову/. В кн.: Аполлон Григорьев. Воспоминания.

ная, лишь бы в конце концов эти отступления вели к деду".^{х/} Этого рода письма — то есть художественно-критические, наиболее соответствовали темпераменту Ап. Григорьева, ассоциативному и импульсивному ходу его мысли.

"Нет писателя, — отмечал Н. Страхов, — у которого бы писаниях так мало было сочинения и так много жизни, как у Григорьева. Оттого-то они так любопытны, так обильны содержанием".^{х/} Если поэтические и критические создания Ап. Григорьева имели в себе "мало сочинения" и "так много жизни", то личные письма Ап. Григорьева явились сгустком жизни — зеркалом странничества, вбирающим собою все его существование.

Типологии русского религиозного сознания, с его миром паломников к Святым местам, по своей природе очень близок характер странника. Не случайно Н. Лесков свою замечательную повесть назвал "Очарованный странник". Именно в этом пространстве и видится ныне образ Ап. Григорьева.

К. Леонтьева при второй встрече с Ап. Григорьевым в канун Пасхи сильно поразила вскользь произнесенная реплика: "Где мне, бездомному скитальцу, праздновать Пасху так, как ее празднует хороший семьянин". В то же время при внимательном чтении писем Ап. Григорьева бросается в глаза подпись одного из них, адресованного Дружинину /от 22 марта 1857 года/: "...ибо от решения его зависит расположение жития моего. Ваш душевно Инок Аполлоний". Вырванка из контекста письма строки при первом приближении выглядят литературным ерничеством. Однако, проследившая все превратности духовной биографии Аполлона Григорьева, возможность его иночества, если бы не ранняя смерть, видится столь же отчетливо, как иночество К. Леонтьева. Не случайно, еще в первом письме к Гоголю Ап. Григорьев писал: "Но я думаю, что тот, кто был скептиком серьезно, не для виду только, не остановится ни перед какою бездною. Сомневаться, так сомневаться уже во всем, даже в самом сомнении, от этого-то, мне кажется, в скептицизме лежит зачаток веры: ибо для того, чтобы усомниться в самом себе, надобно поверить во что-нибудь выше себя", и в третьем: "Может быть, это вам покажется парадоксом, но прошу вас обратить внимание на ваш же принцип, то есть на вечный принцип собирания и сосредоточения самого себя. Собираться в себе значит познавать Бога, познавать же Бога — значит отрешиться от тварей и от

^{х/} Аполлон Григорьев. Литературная критика. "Худ. литература", М., 1967.

^{хх/} Н. Н. Страхов. Воспоминания об А. А. Григорьеве. В кн.: Аполлон Григорьев. Воспоминания.

всего тварного, стрешиться от тварного не значит быть аскетом, но только сознавать тварное за тварное, возводить его к источнику Света и употреблять во славу Его, — одним словом, жить на земле, но не забывать, что, по слову Апостола, ж и т и е н а ш е в н е б е , что все возможно и дозволено, но все должно быть считаемо пометом в сравнении с Христом, по тому же слову: ибо все должно существовать только в о Х р и с т е . Наши женщины слишком похожи на Марфу, п е к у ш у ю с я и м о л в я щ у ю с м н о з е , слишком мало в них энтузиазма к великому и человеческому, лучшие из них думают, что, ведя хорошо домашние дела, исполняя обязанности рачительной хозяйки, они уже все сделали. С! не все, далеко не все по идеалу Христова брака, чтобы быть христианином, вообще слишком мало быть честным человеком, чтобы быть женой и матерью христианина, слишком мало быть честной женщиной. Тот, Кого исповедуем мы, кротко взглянул на взятую в предубодеянии, ибо она много возлюбила, но со строгой укоризной обратился к домохозяйке Марфе...".

Судя по проникновенности, с которой К.Леонтьев писал Н.Страхову о личности Ап.Григорьева, можно догадаться, что он почувствовал в Ап.Григорьеве своего духовного брата, такого же одинокого искателя красоты, способного в будущем обрести красоту и гармонию во Святине. Наверное поэтому завещательную книгу К.Леонтьева "Моя литературная судьба" и "Краткий послужной список" Ап.Григорьева пронизывают родственные интонации. Оба не могли найти гармонии и равновесия в мире сем.

Личность Ап.Григорьева неожиданным и уникальным образом соединяла или, скорее, синтезировала в себе далекие и чужеродные основания. В ней своеобразным способом переплелись утонченное, эстетствующее сознание романтического софиста, блуждающего в мире философия Теллинга и Гегелей, поборника и жертвы "русского тяжелого недуга", и одержимого верой странника, возжаждавшего встречи со святиней. Н.Боборыкин о молодых годах Ап.Григорьева, по воспоминаниям Евг.Эдессона, писал: "Они способны были /как это делал Григорьев/ обходить разные московские трущобы и отыскивать там песенников, гитаристов, жить с ними по целым неделям и месяцам, изучая их манеру, приспосабливаясь к складу их языка, понятий, чувств. В какой-то "Волчьей долине", по рассказам друзей, Ап.Григорьев пропадал подолгу с такими гитарастами, которые очень часто лишались всякого "образа и подобия Божия". А потом нападала на него полоса — художественно-мистическая: он начинал ходить по церквам и монастырям, изменял свой костюм на крепыл-русский лад, читал духовные книги и летописи, увлекался каждой подробностью древне-русской московской жизни".^{х/}

^{х/} Н.Боборыкин. А.А.Григорьев. В кн.: Аполлон Григорьев. Воспоминания.

Именно как антиномию и стоит рассмотреть мирозерцание Ап. Григорьева, которое очень точно прокомментировал С. М. Достоевский, отметили Н. Страхов и К. Лесятьев, а позднее А. Блок и Вл. Княжин.

Если философия западно-европейского экзистенциализма видит и находит себе предтещу в мирозерцании С. Киркегора, то выразителем подлинно русской экзистенции был его поздний современник Ап. Григорьев, который называл образ, характер своего мирозерцания, точнее, своего существования "непосредственным романтизмом". При этом в творчестве того и другого можно найти необъяснимое родство. При самом первом приближении в словах письма, обращенного "безмолвному наперснику" Константина Констанциуса — одного из лирических героев С. Киркегора, и личных писем Ап. Григорьева, адресованных Страхову, открывается некая общность смыслов... То обстоятельство, что найдется немало людей, готовых хвататься за категорию "испытание" по всякому поводу, — стоит, например, подгореть каша! — доказывает лишь, что такие люди не понимают смысла этой категории, — писал Кон. Констанциус. — Человек, обладающий развитым миропониманием, не скоро доходит до нее, так как идет к ней длинным окольным путем. Так шел Иов, доказывающий широту своего мировоззрения той непсколебимостью, с какой он умел избежать всех хитрых уверток и подходов этики. Иов — не верующий подвижник, он — родоначальник категории "испытание", родил ее в страшных муках, именно потому, что был так развит, что не мог воспринять ее с детской непосредственностью". А вот текст письма Ап. Григорьева, писанного в Оренбурге 18 июня 1861 года: "В словах так называемого П и с а н и я есть, мой милый, действительно какая-то таинственная сила. Вдумываясь ли ты серьезно в книгу Иова, в эти стоны, с глубоким сердцеведением вырванные из души человеческой? Там, между прочим, в этом апокалипсисе Божественной иронии, есть слова: "С т р а х, в г о ж е у б о я х с я, н а 2 д е м я" — страшный смысл которых рано или поздно откроется и тебе, искателю истины, как давно уже раскрылся он мне. Да! чего мы б о и м с я, то именно к нам и приходит... Ничего не боялся я столько /между прочим/, как жить в городе без истории, преданий и памятников. И вот я /это — один из многих опытов/ именно в таком городе. Кругом — глушь и степь, да близость Азии, порядочно отвратительной всякому Европеюцу. Город — смесь скверной деревни с казармой. Ни старого собора, ни одной чудотворной иконы — ничего, ничего..." При отсутствии всякой формальной задачи в самой безнадежно-смиренной исповеди Ап. Григорьева слышится переключка с голосом С. Киркегора.

Видимо, в силу странности и "своеобычности" Ап. Григорьева, как говорил А. Блок, русская литература отводит ему место в зеркале

русской критики, более скромное в зеркале русской поэзии и чисто историографическое — в зеркале прозы. В то время как фигура А.П. Григорьева — живой архетип русского мирозерцания во всем его богатстве, во всех противоречиях, в самой своей жизни. "Наиболее русский человек как натура" — как говорил Ф.М. Достоевский.

х х
 х

Письма А.П. Григорьева — это нечто единое цельное, развивающееся во времени, путь задавания "последних вопросов", за которыми мерещится тропинка к спасению. Калейдоскопическое, свободное, органическое мирозерцание А.П. Григорьева не дает возможности включать его в ту или иную идеологию. Само его раскрытое мирозерцание, высказавшее себя в свободной форме письма, и свободно разлившаяся книга Вл. Княжина дадут любые, самые свободные способы ее комментирования.

Мы интегрируем из книги цикл писем, но не к отдельным лицам, как это сделал впервые Н. Страхов /в наши дни в духе этой традиции работает Б. Егоров/, а ограничимся определенным временем и пространственным отрезком. Мы попытаемся рассмотреть письма А.П. Григорьева, адресованные друзьям "издалека", датированные августом 1847 — августом 1858 гг.

Известно, что А.П. Григорьев совершил в своей жизни единственное путешествие за границу по несчастному стечению обстоятельств. Италия стала для него спасением одновременно и от надвигающейся домашней ямы, и от уже случившейся сердечной катастрофы. Болезнь души в этот момент была почти смертельной и навсегда оставила глубокий след в его памяти. Ибо та, которой были посвящены лучшие лирические стихи А.П. Григорьева, знаменитый цикл "Борьба" с его безысходной "цыганской венгеркой", отошла от поэта. Леснида Иковлевна Визард вышла замуж. /Историю этих отношений и их влияние на творчество А.П. Григорьева подробно рассмотрел Вл. Княжин в вступительной статье "А.А. Григорьев и Л.Я. Визард" к книге "Материалы для биографии"/.

Ностальгия, онтологическая болезнь русских, непосредственное столкновение "русской природы" с культурным наследием Запада на некоторое время сумели приглушить прошлые обиды, взбудоражили уснувшие творческие идеи, разбудили надежды.

Если в первом упомянутом нами письме к Гоголю от октября 1848 года А.П. Григорьев писал: "Долго носил я в себе мысль написать целую книгу по поводу вашей", то теперь, почти через десятилетие, очутившись под чужим, прозрачным небом Италии в качестве воспитателя юного князя Ивана Кривича Трубецкого по рекомендации своего вечного благодетеля М.Н. Погодина, то есть на той географии, откуда Гоголь вел свою знаменитую "Переписку", А.П. Григорьев, видимо, замислил или совсем новый способ ее оппонирования, или создание своей, собственной, едвой

ля на чью-то похожей, "переписки". Озаглавил он ее "Друзьям изда-дека".

В письмах к своему наставнику М.Погодину и другу Евг.Эдельсо-ну он подробно говорит о ее плане.

В письме к М.Погодину от 23 августа 1857 г. мы читаем: "Списы-вать вам впечатлений Италией я не стану. Вместо впечатлений у меня родится постепенно целая книга дум, под названием: "Друзьям издаде-ка"...". 11 сентября того же года Евг.Эдельсону: "Уж не ждешь ли ты впечатлений? Во-первых, первая лихорадка впечатлительности прошла. Вижу я, правда, цедуг книжицу "Друзьям издадека", но в ней прекрас-ное далекое есть только место или пункт, с которого идет разработ-ка внутреннего вопроса о непосредственном романтизме и прочем". Тому же адресату в письме от 16 ноября: "Любезный мой Евгений! Не думай, пожалуйста, чтобы "чуждое далеко" было в самом деле нечто такое, что в с е г д а отвечало на сущность нашей душе. Если 1/3 моего уважения к Гоголю уплыла вслед за двумя томами переписки /то есть не старой официальной, а новой в издании Кулиша/, столь искренне разоблачающей всю неискренность этой чисто хохлатской на-турн, то другая 1/3 растаяла от "прекрасного далека".

С другой стороны, в иных письмах мы находим упоминание о книге, как о чем-то в общем состоявшемся. 4 января 1858 г. Ап.Григорьев извещал А.А.Фета: "В это время написано мною много: кончена часть книги "К друзьям издадека" и часть, носящая название "Море". Тут весь я, все мои вопросы — философские, исторические, литературные. Но прежде чем отдать эту дорогую мне книгу Дружинину, хотел бы от-делать ее до точности, до ясности, до известной степени художества. Спаси меня теперь, или лучше спаси мою книгу и дай ей сказаться, как ей надо сказаться". Наконец, в письме к А.Н.Майкову мы читаем: "Я написал уже вчерне книжицу, где беспощадно разоблачил всякую ложь и в себе, и во всех нас, друзья мои. Исходные точки этой кни-жицы — море и Пушкин и конец ее в них же".

Однако "Опыт краткой хронологической канвы для биографии А.А. Григорьева", составленный Вл.Княжиним, и "Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям" Ап.Григорьева не включает в себя данное произведение. Оно не числится ни в каких библиографичес-ких указателях. Нам остается либо довериться А.Блоку, обронившему в статье "Судьба Аполлона Григорьева" красноречивую фразу: "Где большая часть рукописей Григорьева — неизвестно", — то есть считать что рукопись "вчерне" написанной в Италии "книжицы" скрывается где-то в неизвестности, либо согласиться с "Кратким послужным списком". Вот еще одно свидетельство /1865/: "1857 году выдался случай ехать

за границу. Там я ничего не писал, а только думал. Результатом думы были статьи "Русского слова" в 1859 году".

Если статьи в "Русском слове" были "результатом думы философа-поэта", то самым непосредственным её выражением явился стихийный, органический выплеск в жанре живых, конкретных, личных посланий друзьям. Так ярко сказавшись однажды в этом жанре, она не могла найти иной, столь же естественной формы. В письмах к различным адресатам, имеющих лирический, исповедальный, теоретико-философский, культурологический и этнографический характер, миросоперание /странничество/ Ап. Григорьева высказывало себя сполна. Эти сохранные временем рукописи чудодейственным, почти единым дыханием вылившиеся в цикл "писем издалека", и есть зеркало того "замутненного русского строя", в который внимательнейшим образом призывал всмотреться А. Блок. Мы сделаем несмелую попытку последовать его примеру. Испробуем взглянуться лишь в малую часть эпистолярного наследия, которое оставил нам Ап. Григорьев.

"Впечатления", "обращенные в думу"

"Жизнь моя протекает в уроках, картинах, театрах — и х а н — д р е противуестественной. Все, кроме картин и памятников, стоит настолько ниже нашего уровня, что ты и представить себе не можешь... Желчная, подлейшая расчетливость, мизернейшие плотские интересы, — старне картинные жесты без старого, отзвучавшего смысла, комизм в театрах грубый и пошло-глупый, без какого-либо серьезного значения! Но в старых памятниках продолжается какая-то гальваническая жизнь — и вспыхивает минутами в заглохшей, но все-таки вулканической почве, то порывом Верди, то резцом скульптора. Понимаешь ли ты, что именно в этом обнажающемся часто контрасте есть нечто судорожное и лихорадочное", — писал Ап. Григорьев Е. Эдельсону /8 января 1858 г./ В зеркале обнажающихся контрастов, в которых есть "нечто судорожное и лихорадочное", столь свойственное и близкое натуре самого Ап. Григорьева, встает на страницах его писем образ Латинской культуры и как одно из ее совершенных воплощений — Италия. "Стоит иногда морозы, а выйдешь на [улицу] Атис — солнце печет и жарит... Морозам как-то не верится, а солнцу верится. Мудреная страна!"

"Мудреная" натура самого Ап. Григорьева, ибо столь удивительна своей неожиданностью и непредсказуемостью суждения и жеста. Критерий, который приложим к такого рода экзистенции, — ее непосредственность. Но такая непосредственность, своего рода антисистемность, предполагает романтический контраст, то есть наличие веры в некое сбалансированное бытие, которое диаметрально образом расходится с эмпи-

рически существующим. Стесня "проклятое далеко" в эпистолярном цикле Ап. Григорьева возникает сивозъ сколок русской тоски, этого своеобразного романтического "абсолюта". И как некий музыкально-лирический лейтмотив всего цикла рождается контрапункт: блаженные минуты вдохновения сменяются перебором гитарных струн. В орнаментику латинских впечатлений вторгается трагическая тема романтической любви Ап. Григорьева:

На горе ольха,
Под горою вишня...
Любил барин цыганочку,
Она замуж вышла! ^{x/}

x x
 x

"За границей Григорьев сразу повел себя по-русски: "истерически хохотал над пошлостью и мизерией Берлина и немцев вообще, над их аффективной наивностью и наивной аффектацией, честной глупостью, в глупой честности, плакал на пражском мосту, в виду пражского кремля, бранил Вену и австрийцев, подвергал себя опасности быть слышимым их шпионами, и наконец окончательно одурел в Венеции", ^{xx/} — так начал А. Блок пятую главу статьи "Судьба Аполлона Григорьева", посвященную зарубежному периоду жизни. Не ставя своей задачей анализировать письма Ап. Григорьева, А. Блок данную главу построил исключительно на цитатах и комментариях к ним, то есть в резком диссонансе с общим текстом статьи. Надо думать, что для А. Блока эти послания Ап. Григорьева к друзьям явились наиболее красноречивыми свидетельствами уникальности и типичности судьбы его странствующего героя.

"Провидение имело через Вас благую цель — усладить меня на несколько времени куда-нибудь подальше. Если бы мне предложили Вы тогда ехать в Гренландию, я бы точно также охотно согласился, как согласился ехать в Италию... Душа моя совсем разбитая и не было в ней ни одного места, которое бы не заболело... Зачем Вы хотели бы положить резкую грань между прошедшим моим и будущим? Нет! Да иссохнет десница моя, если я забуду тебя, о Иерусалим, т.е. зеленый "Москвитин"! Благороднейшая, сознательнейшая полоса юности, формация крепких и возвышенных верований, купленных и страданиями и безумной, но

^{x/} Аполлон Григорьев. Избранные произведения. Л., 1959. Стихи цитируются по данному изданию.

^{xx/} А. Блок. т. 5.

широкой жизнью, и безумными, но поднимающими душевный строй страстями, в страшных жертвах своего "я", и смирением перед правдой", — благодарил и вопрошал Ап. Григорьев М.П. Погодина /10 августа 1857 г./

По мере того, как душевные раны затягивались, Ап. Григорьев писал письма в Россию, с которой его связывало и прошлое, и будущее, будущее во всей полноте навязчивых для Ап. Григорьева идей.

Сначала попробуем его словами очертить контур настоящего, то есть наметить абрис той культуры, которую попытался вдохнуть в себя последний русский романтик, сторвавшись от своей почвы.

В настоящем была Италия. И все свои отчаяния и верования, переживаемые, как прошедшее и как будущее, он в забвении перемешал эмоциональными впечатлениями. Экзотическое очарование настоящего то возникало в его сознании мелодическим аккордом, в контрастной тональности которого грезилось замесскворечье, то провоцировало проявление стихийной энергии, когда отчетливо выделялись картины его хурвально-общественного служения, то медиумическим способом поворачивало в крайность безысходной тоски, то возвращало из небытия заснувший голос творчества.

"С чего же начать? Начну с Мадонны... На думайте, чтобы я по сему поводу пошел *en* *la* *route* *des* *lignes*, т.е. не ожидайте чтобы я возвратился в любезное отечество знатоком и ценителем живописи, но орган для понимания этого дела, который был во мне решительно закрыт, вдруг во мне обозначился, да и как еще! До страсти, до бешенства. По целым часам не выхожу я из галерей, но на что бы ни смотрел я, все — (три) возвращаюсь я к Мадонне. Поверите ли вы, что когда я впервые раз посмотрел на нее, мне хотелось плакать... Да! это странно, не правда ли? Эдакого высочайшего идеала женственности, по моим о женственности представлениям, я и во сне даже до сих пор не видывал... И есть тайна — политехническая, подудушенная в ее создании. Мрак, окружающий этот прозрачный, бесконечно нежный, девственно строгий и задумчивый лик, играет в картине столь же важную роль, как сама Мадонна и младенец, стоящий у нее на коленях. И это *l'art* *de* *l'expression*. Для меня нет ни малейшего сомнения, что мрак этот есть мрак души самого живописца, из которого вылетел, отделился, улетучился божественный сон, образ, весь созданный на лучах дневного света, а из розово-палевого сияния зари... Смотрел и смотрю я на нее и вблизи и вдали и не надиравшись только одному: *pro* *simple* *creation*. Ничего подобного тем искусственным переливам света, которые занимают теперешних наших живописцев, — нет даже утонченности в наложении красок: все создавалось смело, просто, широко... Но тут есть аналогия с Бетховенским творчеством, которое

тоже выходит из бездны и мрека, и также своею простотою уничтожает все кричащее, всё жидовское /хоть ж и д о в с к о е, т.е. Мейхера и Мендельсона, — как вы знаете, — я страстно люблю/". /Ек.Серг. Протопоповой. Флоренция, 1857 г., Октябрь 20/.

Возвращение к образу Мурильовской Мадонны проходит через все лирические и исповедальные письма поэта. С одной стороны, этот образ создает то "искривало вечной девы", ст прикосновения которого в искусстве романтизма рождался "магический туман", то есть становится своеобразным Ангелом-Хранителем творчества поэта на период зарубежного странствия. С другой стороны, с этим воплощением для Ап. Григорьева символом вечной и совершенной женственности связана конкретная лирико-эротическая тема. В облике Мадонны грезится Ап. Григорьеву черта его утраченной возлюбленной, предмета, может быть, единственной и трагической его любви: Л.Я. Визард. В письмах к Ек. Серг. Протопоповой Ап. Григорьев писал: "Я не могу расстаться с н е о т в я з — н ы м образом, хоть Вы меня за это и браните. Это был мой исконый алгебраический X, — моя Мадонна, Мадонна Мурильовской манер. Мне все в ней было мило, от ее глубины и простоты понимания до ее апатичности и холодности... Я ведь не говорю, что она совершенство, я говорю только, что она была создана совсем по мне, равно как и я создан был совсем по ней. Без меня — она должна со временем обратиться или в з а к и с ь ее покойного отца или *raison maniaque* ее матери. К тому и другому есть в ней равное количество данных, как в первоначальной мадонне Сиенской школы есть залоги и глупо-сонно-добродушной Мадонны Фра Беато Анжелико и к деревянности мадонн позднейших мастеров Сиенны. Можете однако представить себе господина, которому труднать шестой год и который во вне вносит свои дикие *маньяки*!" /1858 г. 6 января. Сиенна/. А вот признание из другого письма: "Откровенно сказать; чего я с собой не делал в течение последних четырех лет. Каких подлостей ж не позволял я себе в отношениях к женщинам, как будто выметал всем за проклятую пуританскую или кальвинистскую чистоту одной — и ничего не помогло: даже развеселить меня из одной не удавалось... Когда я лежал прошлого года больной, и две из них ежедневно, а иногда и по два раза на день присылали тайных послов осведомляться о моем, столь для человечества драгоценном здравии, я бы отдал все их неистовые послания за одну тень грусти, хоть маленькой грусти на ее лице... Да! от нее я взял бы даже сожаление. Я иногда любил ее до низости, до самоунижения, хоть она же была единственное, что могло меня поднимать" /24 ноября 1857 г./. Эта крайняя обаяемость чувств, с такой откровенностью выливавшаяся в письмах к Ек. Серг. Протопоповой и с такой полнотой безысходности

воплотившаяся в цикле "Борьба" и поэме "Venezia la Bella", крайне усугубила трагизм самощущения Ап. Григорьева. Если для иенских романтиков Гений в мужском образе, любовь в женском — могли создать гармонию "золотого века", то для последнего русского романтика, овеянного символическими образами немецких предшественников, утрата единственной любви подтачивала надежды не только на свою счастливую звезду, но и на чаемый "золотой век" России. Поэтому с образом Мадонны Мурильо в творчестве Ап. Григорьева одновременно связано и рождение замечательного поэтического цикла и появление антонадии пока еще отчетливо не осознанного тотального отчаяния, которому подчинится Ап. Григорьев в свой Оренбургский и предсмертный Петербургский периоды. Поэтический цикл можно условно обозначить "флорентийским". Он включает в себя десять стихотворений, среди них "Импровизации странствующего романтика" — пятичастный цикл, три части которого посвящены Мадонне Мурильо, и пять разрозненных стихотворений. Последнее вновь обращено к "высочайшему идеалу женственности" и носит название "К Мадонне Мурильо в Париже".

Из тьмы греха, из глубины паденья
К тебе опять я простираю руки...
Мои грехи — плоды глубокой муки,
Безвыходной и ядовитой скуки,
Стчаянья, тоски без разделенья!

На высоте святыни недоступной
И в небе света взором утоная,
Не знаешь ты ни страсти мук преступной,
Наш грешный мир стопами попирая,
Ни мук борьбы, мир лучший созерцаю.

Тебя несут на крыльях серафим,
И каждый рад служить тебе подножьем.
Перед тобой, дыханьем чистым, божьим
Склонился в умиленьи мир незримый.

О, если б мог в той выси бесконечной,
Подобно им, перед тобой упасть я
И хоть с земной, но просветленной страстью
Во взор твой погружаться вечно, вечно.

О, если б мог взирать хотя со страхом
На свет, в котором вся ты утопаешь,

О, если б мог я быть хоть этим прахом
Который ты стопами попираешь.

Но я брожу один во тьме безбрежной,
Во тьме тоски, и ропота, и гнева,
Во тьме вражды суровой и мятежной...
Прости же мне, мой святая Дева,
Мои грехи — плод скорби безнадежной,

16 июля 1858 г. Париж

Если образ Мадонны Мурильо представился Ал. Григорьеву "Рождественным сном", отделившимся от тьмы живописца, то в самих поэтических импровизациях, вдохновленных ее ликом, можно услышать и уловить поэтики молитвенных медитаций, рвущихся из плена лихорадочно звучащего страдания души. Подобные мотивы можно заметить в творчестве Ел. Соловьева, А. Блока, позднего Б. Пастернака.

О, помолись хотя единый раз,
Но всей глубокой девственной молитвой
О том, чья жизнь столь бурно пронеслась
Кружащим вихрем и бесплодной битвой,
О, помолись!..

Когда бы знала ты,
Как осужденным захвачено на муки
Ужасны рай светлые мечты
И рай гармонические звуки...
Как тяжело святые сны видеть
Душам, которым нет успокоенья,
Призывам братьев-ангелов внимать,
Носа на жизни тяжкую печать
Проклятия, греха и отверженья...
Когда бы ты все бездну обняла
Падающих мук с их вечной лихорадкой,
Бездонный хаос и добра и зла,
Все, что душа безумно прожила
В погоне за таинственной загадкой,
Порывов и падений страшный ряд,
И слышала то ропот, то моления,
То гимн любви, то стон богохуленья, —
О, верю я, что ты в сей мрачный ад
Свела бы луч любви и примиренья...

Что девственной и чистой мольбой
Ты залила с, как влагою целебной,
Вулкан стихий грозной и слепой
И заклала бы силы власть враждебной.
О, помолись!..

Недаром ты светла
Входишь вся из мрака черной ночи,
Недаром грусть туманом загля
Вкруг твоего прозрачного чела
И влагою сияющие очи
Болезненной и страстной облила!

27 января./10 февраля/ 1858.

Флоренция.

А.Блок заметил, что "Европа сообщила григорьевской музе сравнительную четкость, мало ей свойственную. Надыхавшись насыщенным древностью воздухом, Григорьев понял острее свое; он сознал себя как "последнего романтика", и едкая горечь этого сознания придала стихам его остроту и четкость, что сказалось даже в форме: в стихотворении "Глубокий мрак" /из "Импровизаций странствующего романтика"/ форма и содержание — почти одно целое..."^x. На наш взгляд, гармоничная лирика Ап.Григорьева могла возникнуть не только в результате общения и встречи с итальянской древностью и с немецкой идеей, она стала исходом тех романтических состояний, что лавинным и почти бесконтрольным образом вылились в его "посланиях издалека". Музыкальная, исповедальная структура писем к Ек.Серг.Протопоповой явилась той почвой, в недрах которой вызрели молитвенные и прощальные затихающие стихи Ап.Григорьева. Они возникли в душе поэта за семь лет до его смерти. По словам А.Блока: "Гибель была ближе, чем думал поэт: эта "середина жизненной дороги" была в действительности началом ее конца"^{xx}.

Парижское, прощальное обращение к Мадонне Мурильо тоже заканчивалось обращенными стихами:

Безумные и вредные мечтанья!
Твой мрак с тобой слился неразделимо,
Недвигна ты, строга, наумолима...
Ты мне дала лишь новые страданья.

1857.

^x А.Блок. Судьба Аполлона Григорьева.

^{xx} А.Блок. Судьба Аполлона Григорьева.

"Попробовал было спать. Не снится и на новом месте, как на старом. И востом мне хочется говорить с вами и только с вами. Вы умны, как Евгений, — но вы нежны, как женщина, — писал А.И. Григорьев эк. Серг. Протопоповск 6 января 1858 года. — Вы не знаете, что есть мучительного в чужой стороне, в одиноком, совсем пустынном отеле, в пениях чужого народа, раздающихся под окнами. Тут дойдет до тако-го Донкихотского состояния, что с рыданиями говоришь безобразия вроде:

Да! ты умрешь, и я останусь тут

Сдин, один... года пройдут...

Умру и буду все один... ужасно!

А она точно умерла, умерла та Инна, которая — разбитая и едва себя удерживавшая, — сидела, помните? в углу у фортепьяно, когда говори-лись стихи Кольцова, или о ж е с т о ч е н н о звенела венгер-ка, эта метеорская, кабацкая поэма звуков безвыходного страдания... Эх!.. Когда вы прочтете это, подойдите к фортепьяно и возьмите за-ветные аккорды... И их услышу из моего холодного, м о р о з н о г о далека. Мороз здесь очень сильный, и дураки — не топят!"

"Смыслу он учился музыке у Фильда и хорошо играл на фортепьяно но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. К вечернему чаю ко-мне нередко собирались два-три приятеля энтузиаста, и у нас завязы-валась оживленная беседа. Входил Аполлон с гитарой и садился за не-скончаемый саковар. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искрен-ность и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур песни.

— Спойте, Аполлон Александрович, что-нибудь.

— Спой, в самом деле, — И он не заставлял себя упрашивать.

Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару. Репертуар его был разнообразен, но любимой его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,

С голубыми ты глазами, моя душечка!

Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набе-гавшее скептическое влияние не могло загасить пламенной любви красоты к правде. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибающего счастья". X/

Действительно, особенно письма к Ек. Серг. Протопоповой по своему напряжению "метеорского" стечения читаются кульминационной паузой этого музыкального романтического выплеска души Ап. Григорьева. "Осень здесь только тем разве осень, что лимоны очень пахнут в нашем саду, да какой-то прозрачной таинственной дымкой одет небесный свод и поэтому... Впрочем, Вы сами догадаетесь, что из этого следует. Следует и следует, — да вот хоть вальс Шопена, который несется ко мне наверх из залы белья и который играет... с большим чувством, но без большого толка, — следует, что и Шопеновская музыка, а моя беспутная душа весьма мало клеится с Италией". /25 сентября 1857 г./

Наэлектризованное, вибрирующее поле Ап. Григорьева притягивает к себе только тождественные своему настрою звуки. Такую душу лихорадит от мятежных аккордов Шопена, Бетховена, Берди. "А знаете ли вы оперу Берди: *"Les Vêpres siciliennes"*? Она дышит энергией и такой революционной искренностью во многом, что все-таки я должен сознаться, что сей господин — великий итальянский талант... А в Гальяно — режут и орут "Дугенотов", и все жидовски-сатанинское, что есть в музыке великого маэстро, выступает так рельефно, что сердце бьется и жилы в висках напрягаются. Меня пятый раз бьет лихорадка — от четвертого акта до конца пятого... Ста вещь у ж а с а я, буквально у ж а с а я". /20 октября 1857 г./

С точки зрения венской романтической "школы" не удивительно, что мятулаяся, беспутная душа Ап. Григорьева, являя собой темертон и дионисийскому, трагическому духу музыки, при этом всегда хранит ясность и строгую чистоту комментария. Дневное, просветленное сознание как бы не только соседствует, но сопутствует стихийному и хаотичному движению души. И вправду, два начала подлинно романтической личности Ап. Григорьева, в некоей странной расчлененности проявляя себя то в поэзии, то в критике, — обрели полифонизм звучания в текстах писем. Здесь двуединая природа Ап. Григорьева высказала себя целостно в своей контрастности. События внешнего и внутреннего бытия Ап. Григорьева — одновременно и свидетельства о страстной и безысходной жизни его души, и четкое логическое ощущение и осознание этой жизни в историческом пространстве культуры. Скользя призму всего "я", в котором органично ужилось почти болезненное восприятие исторически конкретного и ясное верование в реальную осуществимость вечного, возникает целый комплекс актуально острых и одновременно вечных вопросов.

В этой странной двойной проекции воспринимается Ап. Григорьевым не только музыка "великого maestro" — Верди, но и весь образ латинско-германской культуры. Стесня заворачивающий и одновременно устрашающий встает в пространстве писем флорентийский карнавал, некоторыми состояниями напоминающий описания Гоголевского "Невского проспекта". "Но за вечерело. Я очутился на Арно — в толпе, тесноте, давке, шуме масок, пронзительном визжании итальянского горла... Толпа понесла меня, закружила. Маскарад, как гремучий змей, захватил меня своим хоботом... и понес на Piazza di gran Duca, по Via Calabroia, по Via Ghibellina. <-----> Мгновенный переход в пестрый фантасмагорический сон совершился во мне... Горловые звуки женских голосов с этим страстным, надоедающим, но иногда сильно действующим металлическим оттенком, розовый, огненный колорит вечернего неба, полусвет, полутьма, маски — наследие кровавых и блестящих столетий, что-то кружащее и что-то волканическое... Да! есть возможность жить чужой жизнью, жизнью народов и веков... Голова у меня кружилась, — толпа носила меня, сердце мое стучало... Странное, сладкое и болезненно-ядовитое впечатление! Тут живешь не настоящим, которое мелко во Флоренция, а прошедшим; отрывками старых серенад и стелесками улыбок Мадонны Андреа дель Сарто, волканическими взрывами республиканских заговоров и великолепием Медичисов. Почва дает свой запах, старое дохнет в носом и оно еще способно одурить голову, как запах тропических растений... Страстные безумные поцелуи Ромео и Глии звучат из загробного мира... И м и н нового напрягаются лихорадочно по старой памяти..." /Ек.Серг.Протопоповой. 26. января 1858 г. ,Флоренция/.

Но как всегда у Ап. Григорьева, в драматическое буйство парастающих впечатлений вкрапливаются мгновения тишины, паузы, остановки. Происходит возвращение памяти. И если фантасмагорическому слиянию карнавала предшествовали ностальгические картинки русской "двойной жизни", то выход и пробуждение от карнавального сна имел другие последствия: "Зато, когда я воротился в свою одинокую, холодную, мраморную комнату, когда я почувствовал своз у ж а с н о е одиночество, — я рыдал целый час, как женщина, до истерики. Да, способность жить двойной жизнью дается тяжело, покупается минутами страдания тоже двойного... ядовитого, как аккорды Шопеновского похоронного марша".

Однако эта способность "жить двойной жизнью", купленного минутами "двойного" страдания, оборачивается в душе Ап. Григорьева лирическими минутами проветренной скорби.

В письме от 19 марта 1858 г. опять к Ек.Серг.Протопоповой возникает продолжение той же лирической темы, которая находит себе

разрешение в некоей поэтической логосности. "Не знаю, чем з в у - ч а л о самое последнее письмо. Тоскою самой безумной это называю. /Ап. Григорьева курсивом выделяет слово "звучало". Словно некий постскриптум к недавнему музыкальному сочинению-состоянию/. Не слышалось ли в этой точке какого-то сладострастного упоения тоскою? Есть душевная б о л ь такая, которая переходит в ощущение блаженства и такова была именно эта боль... Моральный опиум - вещь удивительно сладкая, хотя и опасная, а я х в а т и л порядочный прием этого одуряющего средства... На другой день после primo cesso у меня невольно и искренно вырвался следующий аккорд:

Больная птичка запертая,
В темнице гложущий цветок,
Печально вянешь ты, не зная,
Как ярок день и мир широк,

Какие тайны открывает
Жизнь повседневная порой,
Как грудь высоко поднимает
Единство братское с толпой.

Я еще никогда не писал стихов без внутреннего душевного побуждения.. Сам я не знаю, как это у меня всегда делается, но самые глубокие впечатления были у меня те, которые приходили в мою душу совершенно неожиданно, или нет на то! - которые долго лежали в душе под скупом и вдруг всплывали на поверхность совсем готовые, полные, всю душу захватывающие".

Отжествление своего субъективного "я", своего непосредственного мира исповеди-письма с чем-то способным издавать звук, с самой звучащей музыкой, именуемой Ап. Григорьевым "цыганским беснованием", вылилась в цикле писем к Ек. Серг. Протопоповой в своеобразную моно-симфонию. Все впечатления, поразившие воображение одинокого поэта-музыканта включаются в его сочинение, которое то скатывается в бездну, то возвышается до горного величия. Романтическая вера в живую силу искусства вносит в существование Ап. Григорьева странное мистическое чувство.

Мистический элемент творчества и восприятия искусства в немецком романтизме всегда был связан с началом музыкальным. "Музыка - самое романтическое из всех искусств, - писал Э.Т.А. Гофман. - Понимай, можно даже сказать, единственно подлинно романтическое, потому что имеет своим предметом только бесконечное. Дира Оффен отворила врата ада. Музыка открывает человеку неведомое царство, мир, чем лишенный ничего общего с внешним, чувственным миром, который его окружает и в котором он оставляет все свои определенные чувства,

чтобы предаться несказанному томлению^{XX}. Парадокс в том, что такого рода синтез, замечательно воссозданный в сочинениях Р.Г. Вакенродера, Новалиса, Э.Т.А. Гофмана, органическое свойство немецких роман-тиков, оказался и непосредственным миром "наиболее русского человека как природы".

Заглохло все... Но для чего же ты
Попражнему, о призрак мой крылатый,
Слетаешь из воздушных стран мечты
В печальный, злупустением объятый,
Заглохший мир, где желтые листья,
Хрустя, шумят, стопой тяжелой смяты;
Сияя вся как вешние цветы
И девственная, как лик Аннунциаты,

Прозрачно-светлым догарессом лик,
Что из паров и чада опьянения,
Из кнастерного дыма и круженья
Пред Гофманом, как свежий сон, возник —
Шпок расцвести готовящейся рози,
Предчувствие любви, томленье грез!

(*Venezia la Bella*)

х х х
х

"Личу я в великолепном палаццо, где плкнуть некуда — все мрамор да мрамор... Выйдешь на улицу — ударись в мрачный Барджелло, где на каждом камне помоста кричит кровь человеческая... пройдешь несколько шагов, и уже на площади *del Palazzo Vecchio*, а там и Микель-Анжелов Давид и Персей Бенвенуто Челлини... и иногда вспоминаешь, что на этой площади бушевала некогда народная воля, и проповедовал монах Савонаролла, и тут же его потом сожгли... Как бы я ждал горячо желал и вас всех, моих добрых друзей, перенести хоть на день в этот мир, меня окружающий... А то ведь я ила задыхаюсь от одиночества лиризма или терваюсь бозумнейшей тоской..." /Ек.Серг.Протопоповой от 20 октября 1857 г./

Приобщение к рукотворным памятникам великих мастеров Возрождения для Ал.Григорьева обрачивается почти трагическим ощущением жизни современной Италии. И воосторж оменяет безнадежность. "Твоя Италия —

4 Э.Т.А.Гофман. Крейслеряна. 4. Инструментальная музыка Бетховена. М., 1962.

заглохшая сопка, по старой привычке выбрасывающая иногда то оперу Верди, то могучее сопрано, то талант живописца. Здесь хорошо только прошедшее, но хорошо до опьянения. В настоящем же я не знаю, что мог ты найти поэтического. Низерия, мелочность, старые фразы и жесты без старого смысла: в жизни пошлость, отсутствие широты и поэзии — невежество скотское". /Ап.Ник.Майкову, 9 января 1858 г./

"Спать повторю: только и хорошего, что церкви и галереи, да старые жесты старой итальянской природы, потерявшие всякое значение. Эти жесты окаменели давно". /Евг.Ник.Эдельсону, 9 января 1853 г./

"Вот здесь на Западе, что ни человек, то и специалист — оттого-то здесь люди и представляются мне все маленькими, маленькими муравьями, ползающими с мелочной работой по великим громадным памятникам прошедшей жизни. От этого-то зрелища я и хандрю ядовито, ибо обаяние камней одно не питает душу". /Евг.Ник.Эдельсону, 1 декабря 1857 г./

И наконец. "...Рим"! Звучит ли для Вас это слово тем потрясающим, чем оно звучит мне? Пульс мой напряженно бился в сердце билось, когда я подъезжал вчера к Вечному Городу, — я нетерпеливо считал мили, я хотел бы выпрыгнуть из дилижанса и полететь птицей... И вот я в Риме. И стоял под куполом Св.Петра — и я был истинно подавлен и величием всех тех старых, но вечно-жизненных струй, которые скачут как водометы на всяком шагу в Риме, красотой несказанной этого храма, и отчаянием, что в десять дней моего пребывания в Риме я только познаю эту красоту и этого величия. Год по крайней мере надобно прожить в Риме, чтобы с ним освоиться. Год! А я в сентябре должен быть уже в Петербурге — работать и окунуться всей душой в ядовитые вопросы общественные и в тину грязи, на-зываемой русской литературой". /Эк.Серг.Протопоповой, 27 апреля 1858 г./

Однако эта музыкальная, завораживающая барочность впечатлений в письмах Ап.Григорьева встает в двойном ракурсе. С одной стороны, Ап.Григорьеву, как и персонажу самого загадочного романа Ф.М.Достоевского "Подросток" Версикову, "дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес"^х, с другой — при всем лирическом созвучии восторженности Ап.Григорьева и эмоциональной аффектации Версикова следующая фраза из его монолога: "О, боже! нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не утрачивал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милее, чем Россия"^{хх} — органическому

^х Ф.М.Достоевский. "Подросток". Полн.собр.соч. СПб, 1895 г.

^{хх} Там же.

миросозерцанию последнего русского романтика представилась бы кошмаром.

Общезвестно, что Ф.М.Достоевский в знаменитой исповеди Берсидова воссоздал стереотип сознания, которое вошло в историю русской общественной мысли под именем западничества. Видимо, привязанность Ап.Григорьева к "девственно-строгому и задумчивому лику" Мурильовской Мадонны, к "красоте" и "величию" "Вечного Города", к "старым чужим камням" — весь романтический ореол Ап.Григорьева и есть глубокий след, оставленный со времен Петра I Европой в сердце России.

Может быть, и не всегда осознанно именно здесь, в этом "романтическом" комплексе сказалась дань Ап.Григорьева русскому западничеству, с которым он так убежденно и последовательно вел яркую борьбу в свой знаменитый "москвитянский" период.

Но уникальность бытия личности Ап.Григорьева в том, что как только нам удавалось выстроить схему его западнических ориентаций, он тут же начинал свять славянофильством, с коим его роднили более глубокие связи — бескорыстная любовь и вера в Россию, ее народ, ее религию. Поэтому состояния молитвенного экстаза, переживаемые от встречи с Мадонной Мурильо, или с Венерой Милосской в Париже, впрямую как бы соотносившие натуру Ап.Григорьева с типологией немецкого романтика, все-таки не стали до конца иллюзорной подменой, исчерпывающей полноту его православного опыта.

х х
 х

В мире странных, разительных антиномий — музыкальной опьяненности латинской культуры и безысходной русской тоски, живой ораз России получил в сознании Ап.Григорьева стереоскопическую глубину. Подчиняясь "Провидению", угадывая прошлое и будущее России, Ап.Григорьев пытался прозреть в ней свою личностную судьбу. Поэтому он в Европе, неподвластно романтическому западничеству, "сразу повел себя по-русски":

На гора ольха,
Под горок вишня...
Любил барин цыганочку,
Она замуж вышла!

(Продолжение следует)